

---

---

# ДЫМ

Повесть

Русский вестник, 1867, март

Главный герой этой повести есть, очевидно, Литвинов; его чувствам, волнениям и действиям отведено в рассказе самое большое место; ему достается то, что достается только избранным, именно любовь — даже не одной, а двух, далеко выдающихся над общим уровнем женщин: ослепительной Ирины и ангельской Татьяны; наконец, из его мыслей, из его рассуждений о собственных его приключениях, взято и самое слово «Дым», которым так многозначительно обозначена повесть.

Итак, хотя ошибка неволью напрашивается, но ошибиться невозможно: Литвинов — главное лицо. Что же это за герой?

Подобно прежним героям г. Тургенева это мелкопоместный владелец, человек средней руки; подобно прежним героям он взят в цветущую эпоху жизни — главные события совершаются с ним, когда ему наступает тридцать лет. Но затем начинается новое. Литвинов, как оказывается, человек *положительный* (стр.127), *предусмотрительный, благоразумный* (стр.108), *честный и справедливый* (стр. 95), человек *прямой и всегда говорящий правду* (стр.72), человек *живой, а не мертвая кукла* (стр.67 и стр.74), *дельный, несколько самоуверенный малый* (стр.8), *спокойный и простой* (стр.11).

Вот какими похвальными чертами рисуется герой. Он стоит далеко выше окружающей его толпы юношей, так что и смело обрывает их, как власть имущий, и возбуждает их удивление. Вос-

торженный Бамбаев так говорит о нем с приятелями: «Видите вы этого человека? Это камень! Это скала! Это гранит!!!...» (стр.86).

Ну, а дальше? Какие взгляды, какие вкусы у этого человека? По тщательному исследованию оказывается, что Литвинов не имеет никаких политических убеждений (стр. 19) и равнодушен к родной словесности (стр. 147). У этого положительного человека существует, однако же, одно пристрастие. «Пожив в деревне, он пристрастился к хозяйству» и потому отправился за границу и там четыре года «изучал агрономию и технологию» (стр.10).

Вот вам и весь герой. В нем ничего нет, кроме благоразумия и честности. Этому человеку не о чем думать и нечего говорить, и он, действительно, ничего не говорит, а только слушает, что говорят другие. Совершенно ясно, что, несмотря на похвалы, расточаемые Литвинову и автором и другими лицами, автор не мог даже порядочно заинтересоваться такою будничною, бесцветною личностью. Тургеневу ли не знать, как рисуются интересные лица, Рудины, Базаровы, как схватывается в них каждая черта, каждое слово, каждое движение и как все вместе составляет отчетливый, ясный образ! В отношении к Литвинову автор и не пытается сделать что-либо подобное, и образа перед нами никакого нет.

Между тем ведь ясно, что в нем автор хотел изобразить одного из представителей современной молодежи, из тех трезвых или отрезвленных людей, которые теперь нужны для России, которые имеют принести пользу своим землякам (стр.10), которым в настоящую минуту принадлежит деятельность, жизнь, будущность. Но, как видно, не знает этих людей художник или и знает, да нет у него к ним сердечного внимания.

С Литвиновым, судя по его натуре, не должно бы случиться никаких особых приключений; «но,— как замечает автор,— природа не справляется с логикой, с нашею человеческою логикой; у ней есть своя, которой мы не понимаем и не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет» (стр. 127). Вот в силу такого-то, таинственного, но всесильного и неотразимого действия природы (мысль истинно-поэтическая!) и сблысь с Литвиновым происшествия, о которых рассказывает повесть.

Представительницею таинственной природы является некоторая Ирина и по справедливости приковывает к себе все внимание художника и все сочувствие читателей. Ирина весьма сильно заинтересовалась Литвиновым — гораздо сильнее, чем интересуются им и автор и читатели,— и тем чуть было не погубила героя. Два раза она сходится с Литвиновым; в первый раз она чуть не вышла за него замуж, во второй раз чуть не убежала с ним от своего мужа. И в том и в другом случае гибель Литвинова была бы

неизбежна. В самом деле, и в том и в другом случае Литвинов отдается Ирине весь, всем существом своим; Ирина же скоро чувствует, что не может отдаться Литвинову вся, всеми своими мыслями, чувствами и потребностями. И в том и в другом случае Литвинов целиком заполнен только частью Ирины, только внешнею ее прелестью, обаянием красоты; души ее он не понимает и по складу своего ума совершенно не способен понять ее и сродниться с нею. Таким образом, после того, как два раза эта женщина обращала на него порывы своей страстности, после того, как он даже владел ею, она все-таки не стала для него понятною и знакомою: через два года в его душе Ирина «побледнела и скрылась, и только смутно чуялось Литвинову что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ» (стр. 153).

В первый раз, когда Ирине довелось сойтись с Литвиновым, она была семнадцатилетней девушкой, а он двадцатилетним юношей, студентом. Красота Ирины была так поразительна, что «он влюбился в нее, как только увидал ее» (стр.36). С ее стороны, вероятно, было не то: любовь к Литвинову явилась как отзыв на его любовь, как первое пробуждение женского сердца. Как бы то ни было, он счастлив, он ее жених. Но в девушке говорят еще другие инстинкты. Она возмущается тем, что сама ходит замарашкой, что Литвинов часто бывает вовсе не *distingué*. Не то с Литвиновым: «Ирина вполне завладела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя... Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними, он не мог решительно: кровь его загорелась, и он знал одно: идти за нею, с нею, вперед и без конца, а там будь что будет!» (стр.39).

И все-таки — какая сила и нежность в чувстве Ирины! Наступает минута испытания — бал в дворянском собрании, где будет и двор. Ирина отказывается ехать. Так верно знает она себе цену, так хорошо понимает, что может случиться на этом бале. Для Литвинова она отказывается от дороги, открытой ей в высший свет.

Литвинов ничего не понимает. Он сам уговаривает Ирину ехать на бал. Вероятно, и тогда уже мечтавший об агрономии и равнодушный к русской словесности, он не имеет настолько воображения, чтобы представить, что делается и может сделаться в душе Ирины, чтобы приревновать ее к этому блеску, в котором она будет жить несколько часов, в котором не он, а что-то другое может до конца наполнить ее душу.

Его непонимание раздражает Ирину.

«— Помните,— говорит она ему,— вы сами этого желали».

Затем она требует, чтобы его не было на бале.

«— Покоряюсь,— отвечает со вздохом Литвинов и, спохватившись, прибавляет: — Ирина, ты как будто сердиться?»

— О, нет, я не сержусь. Только ты... — Она вперила в него свои глаза, и ему показалось, что он еще никогда не видал в них такого выражения» (стр. 42).

Очевидно, в этом недоконченном «ты...» и в этом взгляде содержится приговор Литвинову. Ирина ищет над собою власти и управы и ясно чувствует, что она не найдет их в Литвинове. Уже совсем одетая на бал, она еще раз отдается во власть и распоряжение его и опять встречает покорный отказ. Тогда она уже перестает и слушать его и глядеть на него.

Несмотря на все это, Ирина ужасно страдает; она плачет целую ночь, она во всем обвиняет себя и пишет Литвинову, чтобы он простил ее, что она его не стоит.

Литвинов же уже на третий день после бала, после того, как Ирина дважды отказалась его видеть, все еще ничего не понимает.

«Ирина не хочет меня видеть,— беспрестанно вертелось у него в голове — это ясно; но почему же? *Что такое могло произойти на этом злополучном бале?*»

И понимает все только тогда, наконец, когда прочитал он записку.

«Все это естественно,— думает он,— я всегда этого ожидал... (Он лгал перед самим собою,— замечает автор: — *он никогда ничего подобного не ожидал*)».

Он сомневается в ее страданиях:

«Плакала?... Она плакала... О чем она плакала? Ведь она не любила меня!» (стр. 47).

Но и в самом порыве отчаяния он чувствует ее превосходство.

«Она, она меня не стоит... вот как!» (стр. 48).

Очевидно, если б она решилась удовольствоваться Литвиновым, то он был бы в ее руках, никогда бы ее не понял и был бы несчастлив.

Проходит десять лет. Литвинов опять счастлив. Он изучил агрономию и технологию; у него есть невеста, подруга его детства, Татьяна Шестова, которая, неизвестно зачем, может быть ради некоторого довершения образования, тоже находится за границею, в Дрездене, где и приняла его предложение. Литвинову предстоит жениться и вступить на новое поприще, к которому он вполне готов. Он спокоен и весел.

А Ирина? Ирина не нашла себе счастья. Она вступила в высший свет, и даже, в силу каких-то странных обстоятельств, на

которые автор набрасывает покров, заняла в этом свете высокое и твердое место. Это видно из того, как она помыкает своим мужем, посылая его к какому-то графу, которого называет дураком (стр. 70), из того, что презрительно смеется над мужем, когда тот вздумал приревновать ее (стр. 93), из того, что обещает Литвинову, если тот хочет, найти занятия в Петербурге (стр. 134). Но, занимая высокое и твердое положение в высшем свете, Ирина глубоко несчастлива, потому что находит этот свет пустым, глупым и бездушным. У нее нет в нем никаких привязанностей; единственный ее приятель, Потугин, взят ею из другого мира. Это мелкий чиновник из семинаристов, человек, надломленный жизнью и глубоко симпатичный.

И вот они случайно встречаются после десятилетней разлуки. Литвинов все забыл, душа его полна новыми чувствами и заботами. Ирина ничего не забыла; «среди блеска, который ее окружает», она следила за судьбою Литвинова, и никто не успел загладить и вытеснить из ее души этого воспоминания. Поэтому Литвинов встречается с нею холодно, а она ужасно ему обрадовалась.

Но при первой встрече пустые аристократы, среди которых он застаёт ее, возмущают его гордость, «его честную, плебейскую гордость» (стр. 58), в которой, однако, слишком много щекотливости и слишком мало самоуверенности, и он решается не идти к ней. Однако же и тут, несмотря на свою холодность и отвращение, он не мог не заметить душевной силы и прелести Ирины. «Почему,— думает он,— на ней не лежит того противного светского отпечатка, которым так резко отмечены все те другие. Почему, ему сдается, она как будто скучает, или грустит, или тяготится своим положением. Она в их стане, но она не враг» (стр. 59).

Литвинов опять ничего не понимает. «Литвинов взялся за книгу»,— пишет автор; вероятно, за агрономическую, и, конечно, не нашел в ней разъяснения своих мыслей.

А как должно было поразить Ирину то, что он нейдет к ней! Когда, наконец, Потугин привел к ней Литвинова, она так выражает свою радость: «Наконец-то, наконец, один человек, живой человек, который нашего ничего не знает! И по-русски можно с ним говорить, хоть дурным русским языком, да русским, а не этим вечным, приторным, противным, петербургским французским языком!» (стр. 67).

Но Литвинов начинает чувствовать опасность и тяжело упирается. Он не кланяется Ирине, встретив ее в горах. Больно подстрекает это Ирину.

«Мне стало,— говорит она ему на третьем свидании,— уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете, в этом за-

видном положении, о котором вы говорите; встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол, я обрадовалась, как источнику в пустыне...» (стр. 74).

«Я протягиваю к вам руку, как нищая, я милостыни прошу, а вы...»

«Я требую малого, очень малого, только немножко участия, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы мне отвести...» (стр. 75).

А что же Литвинов? «Он не мог себе дать ясного отчета в том, что он ощущал». «Чудачки эти светские женщины, — думал он, — никакой в них нет последовательности...» (стр. 76).

Происходит еще свидание, на котором Ирина показывает Литвинову большой свет, и затем все кончено. Литвинов не спит ночь в тяжелых думах. «Он еще удивлялся и недоумевал, — пишет автор, — а вот уже перед ним, словно из мягкой, душистой мглы, выступал пленительный облик, поднимались лучистые ресницы — и тихо, неотразимо вонзались ему в сердце волшебные глаза, и голос звенел сладостно, и блестящие плечи молодой царицы дышали свежестью и жаром неги...» (стр. 96).

Литвинов влюблен, как говорится, по уши.

Все ясно, все отчетливо в душе Ирины. Пусть читатели перечтут те немногие, но удивительные страницы, где она является на сцену. Она недаром говорит Литвинову при первой же встрече, что она «ни в чем не переменялась». Какая искренность, простота в каждом ее слове! Сколько задушевности, теплоты, живой, так сказать, горячей прелести!

Напротив, все смутно и тяжело в душе Литвинова. Он отдается страстному чувству не свободно, не радуясь этому наплыву и избытку жизни, а стараясь подавить его и сохранить свое спокойствие. Дело в том, что любовь Литвинова только половинчатая. Он не сочувствует, не сострадает Ирине, он, скорее, боится ее и смотрит на нее, как на существо более сильное. Его покорила одна ее красота. Опять он чувствует, как в Москве, что он попал в руки Ирины, что он «тотчас попал в водоворот» (стр. 97).

Литвинов понимает, что ему следует уехать, но он хитрит сам с собою, как хитрят люди влюбленные, и идет к Ирине, по-видимому, с тем, чтобы проститься, а втайне с тем, чтобы признаться ей в любви и посмотреть, что будет. Действие, произведенное признанием на Ирину, опять совершенно ясное и отчетливое: на лице ее, закрытом руками, происходило вот что: «и страх и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможение и тревогу; глаза едва мерцали из-под нависших век, и протяжное, прерывистое дыхание холодило раскрытые, словно жаждавшие губы...».

Когда, через два часа, он вернулся к ней, она с своей стороны признается ему в любви. Действие, произведенное на него признанием, вполне сообразно с его состоянием. «Литвинов пошатнулся, словно кто его в грудь ударил». И далее: «он задыхался: восторг, но восторг безотрадный и безнадежный, давил и рвал его грудь» (стр. 103).

После признаний Литвинов решается ехать, потому что, как сказала Ирина, оставаться опасно, страшно... Литвинов, конечно, и уехал бы, точно так, как он уехал через три дня. Но не так решила Ирина. Она идет к Литвинову, и тот «побежден, но побежден внезапно...» (стр. 105).

В ней загорелась удивительная нежность к этому человеку. Ей было ужасно жаль его и тогда, в Москве, и теперь, и вот она решилась всем пренебречь, всем пожертвовать, чтобы только его осчастливить (стр. 129). Чувства Ирины вполне выражаются в словах, сказанных ею Литвинову на другой день:

«— О, мой милый! ты не знаешь, как я тебя люблю, но вчера я только долг свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ах! я не могла отдать тебе мою молодость, как бы я хотела, но никаких обязанностей я не наложила на тебя, ни от какого обещания я не разрешила тебя, мой милый! Делай что хочешь; ты свободен, как воздух, ты ничем, ничем не связан; знай это, знай!» (стр. 114).

Какая беззаветная, бесконечная нежность! В ответ на эти слова Литвинов говорит:

«— Но я не могу жить без тебя, Ирина; я твой навеки и навсегда со вчерашнего дня... Только у ног твоих я могу дышать...»

Он трепетно припал к ее рукам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову.

«— Ну, так знай же, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя... твоя».

Итак, любовь, всесильная страсть покорила себе эти существа и взяла верх над всеми прежними связями и отношениями. Литвинов отказывается от своей невесты и своей будущности. Ирина нарушила свой супружеский долг и готова покинуть свое блестящее положение.

Но что же делать дальше? На минуту страсть покрыла все и не дает любящим видеть своего положения. Но безвыходность этого положения должна же раскрыться, и она раскрывается очень быстро, благодаря душевному разладу, происходящему в душе Литвинова. Ирина весьма справедливо замечает, что это «человек, который сам не знает, что происходит в его душе» (стр. 130). И художник, правдиво изображающий безобразие его чувств, невольно приходит к заключению, что «людям положительным, вроде

Литвинова, не следовало бы увлекаться страстью» (стр. 127). В самом деле, Литвинов не хотел любить Ирину и полюбил; не хотел овладеть ею и владел; не хотел отказываться от Татьяны и отказался. Наделавши таких дел, которых не следовало бы делать, и весьма последовательно считая себя за то вором и подлецом, Литвинов думает поправить все тем, что увезет Ирину и навсегда соединится с нею, то есть думает все поправить делом, которое всего менее следует ему делать, которое окончательно погубило бы и его и Ирину.

Ирина согласна. Она первая написала ему, что готова пойти за ним на край света. Но где же ему, такому слабому, «безвозвратно покоренному», с такую сумятицею в голове и сердце, увлечь за собою такую сильную женщину! И потом, чем он наполнит ее жизнь, чем заменит тот блеск, который теперь ее окружает?

Литвинов колеблется и пишет Ирине письмо, в котором просит подумать и «не брать на себя ношу не по плечам». Когда он потом приходит к ней и, заставши ее в слезах, просит объявить ему приговор, она невольно меряет глазами его душу.

«— Не гляди на меня такими глазами,— говорит он ей...— Они напоминают мне прежние московские глаза.

Ирина вдруг покраснела и отвернулась, как будто сама чувствуя что-то неладное в своем взоре» (стр. 139).

Литвинов, по обычаю, не понимает, что приговор уже сказан. Но Ирине не хочется выйти из-под обаяния; она, плача, все обещает Литвинову и начинает ласкать его. «День наш — век наш»,— говорит она благоразумному юноше, и тот ничего не возражает на такое неблагоразумное правило.

И до того потерялся Литвинов, до того его отуманила страсть, что он не видит практической несбыточности дела, которое затеял. Он попадает в комическое положение человека, не смеющего самому себе сознаться в нелепости своих планов. По художественной правдивости, автор, столь много восхваляющий своего героя, изобразил, однако, его и в эту минуту, изобразил с сожалением, но не без язвительности. Литвинов, положительный, практический Литвинов идет к банкиру занимать деньги! Потом играет в рулетку; «и он действительно,— замечает автор,— округлил свой капитал, спустив излишние двадцать восемь гульденов» (стр. 142). Разум его не был, однако, заглушен до конца, до полной слепоты. «Против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления, точно самое его предприятие было шуточным».

Таким оно и оказалось. Ирина написала ему, что не может бежать с ним, не в силах оставить свет, в котором она живет.



После бури, поднятой в нем этим письмом, Литвинов наконец принимает твердое решение уехать. (Вообще решительности в нем очень много, по словам автора). Он извещает Ирину, что отказывается от нее, и, действительно, уезжает, то есть он поступает, наконец, так, как следует, и перестает делать то, чего делать не следовало.

Проходит два года. Литвинов опять счастлив, как и следует быть счастливым человеку положительному. Он мирится со своею прежнею невестою, женится на ней и благоденствует, прилагая к делу свои агрономические познания.

А Ирина? Ирина по-прежнему несчастлива, по-прежнему блистает в большом свете, по-прежнему даже следит за Литвиновым; но только никого нет, кто бы занял в ее сердце какое-нибудь место. Литвинов очень ошибся, когда в порыве негодования думал, что «его заменит тучный генерал, или господин Фиников» (стр. 144).

Вот и вся басня новой повести г. Тургенева. Чему же сия басня научает? Кому в ней сочувствовать и кого осуждать?

Не пожалеть ли Литвинова? Но за что же? Очевидно, таким людям легко живется на белом свете. Обыкновенное их состояние есть состояние спокойствия, веселости и некоторой самоуверенности. Конечно, Ирина заставляет его несколько страдать. Но у благоразумного юноши достало духу тотчас (через три дня) оторваться от своей соблазнительницы, и затем вся эта история не оставила на нем никакой мрачной тени, никакого неизгладимого следа.

Другое дело Ирина. Она гораздо памятьливее и не питает особенно светлого взгляда на жизнь. Когда Литвинов приходит к ней после своего мучительно-вырвавшегося признания, она говорит ему:

«— Жить, вообще, не легко, Григорий Михайлович, как вы полагаете?» (стр. 102).

«— Как кому!» — грубо отвечает непроницательный юноша, желая намекнуть, что ей, вероятно, жить легко, а вот ему — так очень тяжело. Но, судя по правдивому изображению художника, Ирине не обошлись без страданий ее встречи с Литвиновым, и даже нет сомнения, что на ее долю выпали более жгучие, более живые мучения. Вспомните сцены, когда Потугин уводит ее от квартиры Литвинова и когда она прибегает к отъезжающему вагону. Литвинов постоянно считает себя правым и имеющим на Ирину какие-то права; она же всегда кается, как виноватая, как нанесящая рану любимому существу.

Но Тургенев давно уже научил нас, как судить в подобных случаях. Мораль, которую он так долго проповедовал, которую он развил и разъяснил в целом ряде прекрасных произведений, за-

ключается в том, что если мужчина не успевает вполне овладеть женщиною, добиться от нее полной, беззаветной любви, то знает, он ее не стоит, он так слаб, так мал, что не может наполнить собою ее душу. Следовательно, Литвинову поделом досталось. Он пигмей перед Ириной, как весьма выразительно и намекает ему на это философствующий Потугин: «Человек слаб, женщина сильна»<sup>\*</sup>, — говорит он ему в виде предостережения (стр. 84).

*Человек слаб, женщина сильна; природа имеет свою непостижимую для нас логику* — вот единственная мораль нашей басни. Она извлечена из нашей русской жизни и показывает нам, что у нас бывают женщины, в которых природа воплощает свою таинственную силу, женщины с таким обилием душевной мощи и прелести, с такою сияющею внутреннею и внешнею красотою, что перед ними все покоряется, и высший и низший свет, как будто перед урожденными царицами, что Потугины и Литвиновы внезапно теряют перед ними все свое благоразумие и решительность. Эти женщины иногда изливают избыток своей душевной жизни на таких людей, как Литвинов; но они не могут навсегда остановиться на Литвиновых, как бы искренно этого не хотели; над Финиковыми же и изящными генералами они смеются в глаза и потому остаются всю жизнь несчастными и страдающими, так как нигде не находят себе полного ответа равноправной силы.

Итак, Тургенев к числу прежних своих женских образов, которые он один умеет рисовать с таким глубокоим пониманием, присоединил новый, который, по прелести и по несчастливой судьбе, станет рядом с Наташей (в «Рудине»), Асей, Лизой (в «Дворянском гнезде»), Еленой (в «Накануне»).

Но что же это? Куда мы зашли, следуя, однако, по стопам поэта, руководясь его ясными указаниями? Мы пришли к заключениям, которые прямо противоречат словам поэта, буквальным выражениям его повести. Насколько все лица повести хвалят Литвинова, настолько же они осуждают Ирину. Только сам поэт, сам рассказчик не решился коснуться ее ни единым словом. Но, по словам Потугина, эта женщина *испорчена до мозга костей* (стр. 84); ее недовольство своим положением Литвинов называет *развращенною меланхолиею модной дамы* (стр. 142); наконец, сама она, вечно виноватая и вечно кающаяся Ирина, пишет, что *я слишком глубоко проник в нее, что, видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом* (стр. 143). И таким

<sup>\*</sup> Это неправильный перевод с французского: *L'homme est faible etc.* Правильно нужно перевести: *мужчина слаб и пр.*

образом, вся повесть превращается, в глазах Литвинова, в рассказ о безнравственности высшего света и о гибели, уготовляемой светскими дамами неопытным юношам (стр. 118).

Посмотрим, однако, в чем состоит эта испорченность, этот яд. Образ Ирины далеко не дорисован художником, но те черты, которые он успел набросать, очень ясны. Ирина любит роскошную, блестящую светскую жизнь. Но роскошь, как замечает одна из героинь г. Тургенева (Зинаида в «Первой любви»), — красива, следовательно, имеет непререкаемое право на любовь. В самом «Дыме» граф Рейзенбах весьма остроумно замечает по поводу этого, что «мед сладок» (стр. 48). Что же касается до пустоты и пошлости, скрывающейся под блеском и роскошью в высшем свете, то Ирина их ненавидит всюю душою. На ней самой не лежит «противного светского отпечатка» (стр. 59); «она никогда не гнушалась людей, низко поставленных, и графиня не раз пеняла ей за ее излишнюю, московскую фамильярность» (стр. 120); Ирина даже не равнодушна к русскому языку (стр. 67).

Итак, где же испорченность? Не в том ли, что она полюбила Литвинова? Да ведь это — новое доказательство правильности ее симпатий, если судить по словам автора. Итак, все обвинение против Ирины заключается в том, что она не ушла с Литвиновым. Но спрашивается, взамен той, хотя призрачной, но блестящей жизни, которую она любила, что предлагал ей с своей стороны Литвинов? Какой мир, какую жизнь, какую деятельность, какую пищу для жадной души? Ничего, кроме собственной особы. Ну, если этого оказалось мало, то не другие же виноваты. Литвинов даже не Рудин с его неистощимым, увлекательным энтузиазмом, не Базаров, с которым, по выражению Одинцовой, «говоришь — точно по краю пропасти ходишь»; Литвинов просто — потерявшийся мальчик; из-за чего же тут жертвовать жизнью?

А ведь она чуть не пожертвовала! Чем жалеть Литвинова, не лучше ли немножко ее пожалеть? Мы решительно становимся на сторону почтенного Созонта Ивановича, который так хорошо знает Ирину; заметив отношение ее к Литвинову, он говорит ему: «Но я за нее боюсь... я боюсь за нее» (стр. 119).

«— Много чести, господин Потугин», — иронически отвечает Литвинов.

Но, как бы то ни было, честь эта досталась господину Литвинову. Возьмем дело с этой, так сказать, мужской точки зрения. Тогда окажется, что «Дым» повествует о том, как обольстительные юноши, подобные Литвинову, опасны для светских дам, как один из них чуть не погубил до конца одну из блистательнейших царич великосветского общества.

Вот мы и довели до конца это трудное разбирательство. Мы изложили дело подробно для того, чтобы читатель мог отчетливо судить, насколько правильно заключение, выводимое из рассказанных событий самим автором. Это заключение он влагает в размышления Литвинова, которым тот предается, уезжая из Бадена и глядя на дым, вылетающий из трубы паровоза.

«Он глядел-гляддел, и странное напало на него размышление... Он сидел один в вагоне; никто не мешал ему. «Дым, дым»,— повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, *собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское*». (стр. 150).

Положительно нет ничего в повести, что оправдывало бы такое странное размышление, даже ничего такого, что вязалось бы с ним.

Не дым ли высший свет? Конечно, не дым, если в нем являются такие сильные и прелестные женщины, как Ирина. Обладая всем, что есть хорошего в этом свете, они протестуют против его пошлости и пустоты, они неустанно язвят его и ищут для себя какого-нибудь выхода. Эти ищущие и страдающие силы, конечно, представляют прекрасный задаток. Как искренни они в своих исканиях, видно из того, что, будь Литвинов крошечку пошире и покрепче, Ирина отдалась бы ему безвозвратно.

Что же касается до низшего света, то тут дела обстоят еще благополучнее. Оказывается, что тут при помощи одного изучения агрономии и технологии можно быть веселым, спокойным и несколько самоуверенным, можно почти неотразимо привлекать к себе цариц высшего общества, не видящих вокруг себя подобных светлых личностей, и, наконец, можно достигнуть полного счастья, можно найти девушку, у которой «золотое сердце, истинно ангельская душа» (стр. 116), и навсегда соединить с нею свою судьбу.

Серьезно, мы находим в повести Тургенева слишком много счастья; на этот раз он слишком на него расточителен. Ни одного из прежних своих героев он не наделил счастьем так легко и так надолго, как Литвинова. Кроме несчастного Инсарова<sup>1</sup>, так быстро умершего, Тургенев даже не женил ни одного из своих героев и не давал им удачи в любви. Мы уже говорили, какая здесь крылась мораль. Мораль все та же со времен Онегина и Татьяны. Русское общество имеет так мало крепких основ, так сильно поражено различными недугами, что в нем трудно быть счастливым, ибо для счастья требуется прочный строй жизни, требуется атмосфера, в которой бы спокойно и свободно могли раскрываться душевные силы.

Как не сказать после этого, что Литвинову дешево досталось его счастье! Современные недуги прошли мимо него, и никакое сильное внутреннее стремление не беспокоило его.

Итак, откуда же отчаянная мысль, что все человеческое дым? Нужно говорить правду, это мысль не Литвинова, а самого г. Тургенева. Вот уже третье произведение, в котором проглядывает эта мысль. «Призраки», «Довольно»<sup>2</sup>, «Дым» — все это вариации на старинную тему: *суета сует и всяческая суета!* В «Дыме» автор развивает ее почти так же, как древний Экклезиаст:

«Все дым и пар; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая».

Не то же ли говорит Экклезиаст:

«Что пользы человеку во всем труде его, которым он трудится под солнцем. То, что было, есть то же, что будет; и то, что сделано было, есть то же, что сделано будет; и нет ничего нового под солнцем»<sup>3</sup>.

Мысль хотя не новая, как видит читатель, но хорошая; нельзя запретить поэту смотреть на вещи с этой стороны, если к тому влечет его душевное настроение. Нужно только, чтобы мысль была выражаема с надлежащею силою и поэтической ясностью. К сожалению, этого нет. «Призраки» есть наиболее правильное из этих произведений. Эллис, сама воплощенная поэзия, носит поэта по земле, показывает ему современный мир и воскрешает перед ним грозные картины истории. С тоскою и унынием отворачивается поэт от настоящего и прошедшего и, наконец, встречает смерть и отдается ужасу при мысли о ничтожестве всего на свете.

В «Довольно» мысль о суете выражена наголо и не оправдана поэтически, а обставлена холодными и слабыми рассуждениями.

Наконец, в «Дыме», как мы видели, она нимало не связана с предметом, которому посвящен рассказ. Литвинов и проповедь о ничтожестве всего земного — можно ли не видеть здесь явного разногласия?

Что не связано, то так несвязным и остается. Рассуждая о суете мирской, Литвинов нимало не думает пояснить свои рассуждения событиями своей жизни, но вдруг начинает говорить о совершенно других вещах, совершенно до него не касающихся. Вот продолжение этого странного размышления:

*«Другой ветер погул, и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы... дым, шептал он, дым; вспомнились*

горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко и низко поставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей... дым, повторял он, дым и пар; вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей — и *даже все то, что проповедовал Потугин...* дым, дым и больше ничего» (там же).

Ветер переменялся! Вот отчего все и показалось дымом, показалось опять-таки не в глазах Литвинова, а в глазах г. Тургенева; вот слово, объясняющее весь смысл романа, настоящий ключ к его загадке.

Что же это за ветер? Конечно, дело здесь не в том, что Ирина изменила Литвинову или что он изменил Татьяне и т. п. Нет, Литвинов ни с того ни с сего начинает размышлять о тех партиях, спорах и криках, в которых не принимал ни малейшего участия, которые не имели никакого отношения к истории его любви и о которых поэтому нам и не пришлось до сих пор говорить. В романе выведена на сцену целая толпа лиц всевозможных оттенков, консерваторов, либералов, радикалов и пр.; есть даже один спирит. Консерваторы, спириты и т. п. группируются около Ирины; радикалы и революционеры — около некоторого Губарева. Сказать что-нибудь об этих лицах нет никакой возможности, до того слабо они обрисованы; об ином ничего и не узнаешь, кроме того, что у него *гнусный затылок*; три генерала различаются тем, что один тучный, другой раздражительный, а третий снисходительный и т. д. По справедливому замечанию одного человека со вкусом, повесть г. Тургенева представляет большую картину, на которой не вполне дописано прелестное лицо Ирины, других же лиц совсем нет, и там, где им следует быть, поставлены мелом кружки вместо голов и линиями обозначено положение тела. Вот эти-то люди и составляют *дым*, а отнюдь не Ирина и Литвинов, которые не имеют с ними ничего общего.

Куда же несется этот дым? И какая случилась перемена ветра, в силу которой дым, как и подобает дыму, понесся в другую сторону? К сожалению, едва ли кто найдет в повести ясные ответы на эти вопросы. Одно только ясное и определенное указание нашли мы по сему предмету. Продолжая утешать себя размышлениями о важных материях, Литвинов между прочим думает:

«Вот в Гейдельберге теперь (1862) более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии, ни о чем другом и слышать не хотят... а пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров... Ветер переменится, дым хлынет в другую сторону... дым... дым... дым!» (стр. 152).

«Предчувствия Литвинова сбылись, — прибавляет автор, — в 1866 году было в Гейдельберге учащихся в летний семестр 13, в зимний 12».

Другое указание автор сделал невольно, обмолвившись. Именно, Потугин очень горячится в одном месте против повести г-жи Кохановской *Рой на спокое*. Но эта повесть появилась в 1864 году, а г. Потугин, предполагается, философствует против нее в 1862 г. Итак, эпохи несколько смешаны в повести, и все показывает, что ее тенденции ничуть не ограничиваются чертой 1862 года, а простираются и до настоящих дней. Вслушайтесь еще раз в речи Потугина, вникните в намеки, рассеянные в повести, и вы, наконец, поймете, о какой *перемене ветра* глубокомысленно рассуждает Литвинов.

Да, вот оно что! Действительно, ветер-то переменялся, действительно несет в другую сторону. Это факт очевидный, обширный, ясный, общеизвестный. До 1862 года движение, постепенно возрастающее, шло в одну сторону, после 1862 года оно поворотило и пошло в другую. Если уж говорить о переменах ветра, то сейчас же придет на мысль эта перемена, перед которой все другие ничтожны; опустить ее или не иметь ее в виду невозможно.

Увидев эту перемену, столь крутую, неожиданную, поразительную, г. Тургенев воскликнул из своего прекрасного далека: суета сует и всяческая суета! Все человеческое — дым, а все русское — дым по преимуществу!

Теперь, когда мы вскрыли внутреннюю подкладку повести, так сказать, ее нерв, нам легко уже будет судить о тех ее местах, где выражаются не поэтические, а публицистические мнения. В этой повести все задето, все наши партии, почти все явления нашей жизни, и высший свет, и учащаяся молодежь, и Глинка, и Телушкин<sup>4</sup>, и проч., и проч. Можно подумать, что для ответа на все эти бранчливые и брезгливые отзывы придется воевать с г. Тургеньевым целые годы, придется спорить без конца. Но дело гораздо проще и не требует особенно сильных военных приготовлений.

Немало в «Дыме» выходок против людей и мнений, принадлежащих к движению до 1862 года; но несравненно многочисленнее, продолжительнее и сравнительно сильнее выходки против мнений и настроений, получивших верх после 1862 года. Увы! Не равнодушен наш поэт и не до конца искренно он исповедует, что все прах и суета. Ветер переменялся, и все понесло в другую сторону; «все дым», шепчет поэт; но, несмотря на это успокоительное изречение, перемена, очевидно, раздражила поэта, и он написал повесть *против господствующего ветра*.

Ясно, как день, что в повести слышна раздражительность; ясно, как день, что эта раздражительность направлена против господствующего ветра. Этот ветер, вероятно, слышится г. Тургеневу, как и всякому, в каждом листке любой русской газеты. Это ветер противный обличительному и самооплевательному, веяние некоторой народной гордости, самоуверенности, большее уважение к нашей истории, большая вера в насущные силы России, большая надежда на ее будущность. Говоря литературными формулами, все мы до 1862 года были более или менее западниками, а после этого года все более или менее стали славянофилами. Вот та превратность земных вещей, которая не нашла себе сочувствия в душе нашего поэта.

Но — трудно плыть против ветра! Кто же обратит внимание на эти брезгливые и мелкие выходки, когда жизнь, сама жизнь, сама история увлекает нас, когда то, над чем издевается г. Тургенев, не находится вдалеке от нас, не составляет предмета наших наблюдений со стороны, а составляет часть нас самих, составляет то, чем мы живем и волнуемся.

Мы, например, прилежно изучаем раскол; литература по расколу растет, и мы вникаем в нравственные причины, которые его породили и так тесно связаны с самою глубиоу нашего народного духа, и нам вдруг предлагают такое остроумное мнение: «Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает — главное приказывает; стало быть, он прав, и слушаться его надо. *Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины точно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал.*» (стр.27).

Мы, например, оказались способными к естественным наукам. Имена наших натуралистов почетно известны в ученом мире; в наших университетах кафедры по этим наукам все заняты, заняты людьми, стоящими на уровне современных знаний, а об этом рассуждается так: «Теперь мы все к естественным наукам в кабалу записались... *Почему, в силу каких резонансов мы записываемся в кабалу, это дело темное;* такая уже видно наша натура. Но главное дело, чтобы был у нас барин» (стр. 26).

Мы, например, любим музыку Глинки; серьезный, строгий музыкальный вкус развивается в нашей публике; являются композиторы с своеобразными, неподдельными талантами; мы встречаем их с восторгом, и будущность русской музыки нам кажется несомненною. А нам говорят на это: «О, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственность искусства!» (79). То есть, как же, дескать, вы надеетесь, что у вас будет русская музыка, когда ее еще нет. Забавное рассуждение! Ведь только на то



и можно надеяться, чего еще нет. Но она есть, русская музыка! Сам Созонт Иванович говорит, что Глинка чуть было не «основал русской оперы». А что, как в действительности он ее основал, и вы ошибаетесь. С каким вы длинным тогда останетесь носом! Шутка ли — *русская опера!*

Вообще, замечания г. Потугина иногда остроумны, но в целом удивительно мелки и поверхностны и доказывают, что русская жизнь может показаться дымом только тому, кто эту жизнь не живет, кто не участвует ни в едином ее интересе. Темна, бедна русская жизнь — кто говорит! Но от этого русским людям как людям живым бывает трудно и тяжело жить, а не летят они по ветру с легкостью дыма. В самых шатаниях и увлечениях, которые, по-видимому, хочет казнить г. Тургенев своею повестью, мы очень серьезны, доводим дело до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, следовательно, доказываем, что мы живем и хотим жить, а не несемся, куда ветер повеет.

Если же смутно и странно наше умственное и нравственное настроение, если все бродит у нас, как чреватый хаос, то это не значит еще, что все это один дым. Внимательный наблюдатель должен признать, что благодаря нынешнему царствованию действительно вскрылись все язвы, которые мы носили в своем теле, воображая себя вполне здоровыми; мы знаем теперь свои болезни, и еще более: появились некоторые черты, обозначились известные точки, указывающие нам на склад в будущем нашего постепенно обновляющегося нравственного организма. Еще много дыму пускается на эти черты, но они все яснее и яснее проступают из-под него.

Собственно, здесь мы могли бы кончить наш разбор. Мы видели из самой повести, что жизнь русская в ней нисколько не казнится, и знаем, что выходки действующих лиц относятся к такому важному перелому и перевороту в этой жизни, что никак не могут представлять собою серьезное суждение о нем. Но положим, что в «Дыме» действительно казнится русская жизнь, как полагает сам автор. Тогда спрашивается, во имя чего же она казнится? Перед каким светлым и определенным идеалом ее явления оказываются мутным дымом, летящим по ветру? В повести есть очень бойкие указания на этот идеал, так что их невозможно оставить без внимания. Возьмем главное, центральное место, которое, по-видимому, должно объяснить все остальные замечания, разъяснения в повести.

Беседуют Потугин и Литвинов, то есть два лица, к которым автор относится совершенно сочувственно, и в беседе своей касаются самых общих вопросов. Потугин весьма жестоко отозвался

о славянофилах вообще и о г-же Кохановской в особенности; тогда Литвинов замечает:

«— После того, что вы сейчас сказали, мне нечего спрашивать, к какой вы принадлежите партии и какого вы мнения о Европе» (стр. 29).

Итак, Потугин принадлежит к некоторой партии, и Литвинов нимало над ним за это не смеется, хотя, по его мнению, русским еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем (стр. 20). Притом Литвинов так проникателен, что даже вполне угадывает мнение Потугина о Европе. Любопытно! В чем же состоит это мнение?

«Потугин приподнял голову» (очевидно, движение гордости и уверенности).

— Я удивляюсь ей (Европе) и предан ее началам до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужным это скрывать».

Казалось бы, за эту смелую и открытую речь немедленно должно было последовать хотя какое-нибудь указание на предметы, перед которыми преклоняется Потугин. Он должен был бы хоть намекнуть, в чем он удивляется Европе и каким началам он так предан. Ведь Европа велика, и чего-чего в ней нет! Какие начала разумеет Потугин? Английское начало самоуправления или французское начало администрации? Свободу печати или систему предостережений? Народность или космополитизм? Социализм или политическую экономию? Уж не начала ли 89 года, на которые любит ссылаться французский император? Что-нибудь и как-нибудь да должен бы был обозначить Потугин.

Ничуть не бывало. Он совершенно довольствуется тем, что сказал. Он начинает хвалиться тем, что смело всем высказывает это свое мнение (какое? желательно бы знать?), и с некоторым азартом так продолжает речь:

«— Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее (посмотрим!), я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, цивилизации — да, да, это слово еще лучше, — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой любви, другой веры у меня нет и не будет. (Видите, как горячо!) Это слово: ци... ви... ли... зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог), и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, — кровью пахнут... Бог с ними!»

Итак, г. Потугин предан той цивилизации, которая противоположна народности, славе и другим словам, пахнущим кровью. Кто поймет подобную складную речь? Народность есть начало, как известно, заправляющее современную историю Европы. Но это-

му началу г. Потугин не предан. Слава никогда никаким началом не была. Уж не разумеет ли здесь г. Потугин la gloire militaire<sup>5</sup> французов, которая действительно пахнет кровью? Если так, то значит, воинственности французов он не сочувствует. Но чему же он сочувствует и чему предан?

Цивилизации, ци-ви-ли-зации.

Признаемся, это нам невольно напомнило то, как г. Анучкину, любителю французского языка и тонкого обращения, понравилось слово Сицилия (в «Женитьбе» Гоголя). «Сицилия, — обращается он к Жевакину, — вот вы говорите Сицилия, как же это Сицилия...»

Да, хорошие бывают слова!

Между тем собеседник Потугина вполне удовлетворится его словами. Он как будто до тонкости узнал мнения Потугина о Европе и потому, оставляя исчерпанный сюжет, обращает разговор на любезное отечество.

«— Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

— Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу».

Прекрасно. Спрашивается, после подобных слов какой вопрос должен быть предложен Созонту Ивановичу? Казалось бы любопытствующий Литвинов должен был спросить: что же вы в России страстно любите и что вы в ней ненавидите? Какие стороны вы находите светлые и какие темные?

Но ничуть не бывало. Можно подумать, что опять Литвинов как будто до тонкости узнал мнения Потугина о России, что он угадал их. Однако нет.

«Литвинов пожал плечами.

— Это старо, Созонт Иваныч, это — общее место».

Совершенно справедливое замечание. Литвинов ничего не узнал и не мог узнать из такого общего места, что Россия имеет и темные и светлые стороны. Собеседникам, очевидно, следует пуститься в частности; тогда разговор будет интереснее. Но не тут-то было. Созонт Иванович возражает:

«— Так что ж такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест». И проч.

На это, конечно, следовало бы отвечать, что никто общих мест не пугается и никто не отрицает их достоинств; но только никто же на общих местах не останавливается и не считает их выражением ясного и определенного мнения о частном вопросе.

Вместо того Литвинов нападает на Потугина с той точки, будто взгляд его устарел.

«— Байроновщина, — перебил Литвинов, — романтизм тридцатых годов».

На это Потугин победоносно отвечает цитатою из Катулла, которая неопровержимо доказывает, что его общее место есть действительно очень общее место. Затем он начинает горячиться по поводу России точно так, как прежде горячился по поводу Европы.

«— Да-с,— говорит он,— я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул; нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошке!»

Вот и понимайте как знаете! Литвинов, однако, вполне довольствуется этою тирадою, и разговор переходит на другие предметы.

Как не подивиться после этого русским людям! Вот из толпы набитых дураков и беспардонных болтунов выходят двое умных людей. Один из них только что язвительно подсмеялся над своими соотечественниками за то, что у них вечно «возникает вопрос о значении, о будущности России, да в *таких общих чертах, от ящ Леды, бездоказательно, безвыходно*» (стр.26). Но о чем же беседуют сами два умника?

— Какого вы мнения о Европе? — спрашивает один.

— Хорошего мнения, — отвечает другой. — Только вот не люблю, когда что-нибудь кровью пахнет.

— А о России?

— Многое одобряю, но многое и порицаю.

Ну может ли быть еще что-нибудь общее этих общих черт и общих мест?

Приглядитесь еще немножко, и вы увидите, что разговаривающие сами не понимают своего отношения к предметам речи. Что за вопрос: какого вы мнения о Европе? Разве *на европейской точке зрения* можно быть какого-нибудь, хорошего или дурного, мнения разом о всей Европе, о всех ее государствах, делах и партиях? Вопрос есть нелепость для всякого, кто не считает Европу особым миром, развившимся из особых начал, например, положим, из римской цивилизации, и кто не противопоставляет этому миру некоторого другого мира. Для настоящего европейца Европа есть все, всецелый мир, и он называет и чувствует себя европейцем только перед людьми, которых считает чуждыми настоящей исторической жизни, перед китайцами, малайцами, неграми. Среди же Европы никто себя европейцем не величает и если питает какие-нибудь мнения о Европе вообще, то эти мнения для него равнозначительны с мнениями о состоянии и развитии человечества вообще.

Точно так никакой настоящий западник не называет себя западником. Слово это придумано славянофилами и означает людей, отрицающих существование у нас народных начал. Но никто не станет определять себя одним отрицанием. Всякий западник назовет себя вам или конституционалистом, или республиканцем, демократом, социалистом и т. д., но никто не назовет себя просто западником. Никто не скажет, что он держится западных начал; всякий скажет, что он держится общечеловеческих начал, и именно таких-то и таких-то.

Итак, о чем же рассуждают умные люди г. Тургенева? Согласно с славянофильскими понятиями, они вообразили, что можно отнести к Европе, как к особому *единому* миру, и, согласно с славянофильской терминологией, именуют себя *западниками*. В смысле славянофилов, какой бы вы западной теории ни держались, вы будете западник, человек, держащийся начал особого европейского мира. Вот почему Потугин вместо всяких мнений твердит только одно: я западник, я европеец!

Вот, следовательно, в чем разгадка: умные люди не столько пылают любовью к цивилизации, сколько нерасположением к славянофильской теории. Они рассуждают о вопросах этой теории, употребляют ее же формулы, но заявляют свое полное несогласие с нею. Своего же за душой у них пока ничего нет.

Приведем еще одно пояснение. Ни один француз, ни один немец, конечно, не задаст своему соотечественнику такого неопределятельного и в сущности ничего не значащего вопроса: какого вы мнения о Европе? Но есть один народ, — в настоящую минуту, конечно, первый из народов мира, — в котором встречается нечто подобное нашим русским разговорам. Это англичане. Когда англичанин в первый раз отправляется с своего острова на материк Европы, то по возвращении или среди самого материка он слышит от своих соотечественников вопрос: ну, что вы скажете о *континенте*? Как вы находите континентальную жизнь, континентальные порядки?

Понятно, на каком взгляде опираются подобные вопросы. Все не английское, все чуждое тех широких, крепких, правильно развитых, ясно сознаваемых начал, которыми проникнута английская жизнь, должно являться англичанину чужим миром, миром, держащимся на каких-то иных началах, следующим в жизни иной, не английской, логике. Тут является такая определенная противоположность, что континент сливается в глазах англичанина в одно целое, все его разнообразие покрывается одним общим колоритом.

Спрашивается теперь, в таком ли смысле Потугин и Литвинов сообщают друг другу свои мнения о Европе. Увы! Оказывается,

что перед нами не два образованных европейца, из которых каждый имеет свое определенное мнение, свое profession de foi<sup>6</sup>, осуществлению которого и посвящает свои мысли и труды; но это также и не два образованных русских, сознающих своеобразие русских, сознающих своеобразие своей народности и размышляющих об отношении ее к иному миру, к Европе. Нет, они всего скорее похожи на каких-нибудь попавших в Европу сиамцев или японцев, которые в каждой стране ее одинаково чувствуют себя не европейцами; это действительно убогие дурачки-варвары, которые столбенеют в тупом и неопределенном удивлении к зрелищу, раскрывающемуся перед ними, люди, восхищающиеся цивилизацией вообще — в противоположность варварству, господствующему в их темном отечестве.

Но неужели же мы, русские, находимся в таком положении? Опять заметим, что, только глядя на русскую жизнь со стороны, можно было так поверхностно понять это отношение. В действительности в настоящую минуту ни один русский человек не может стоять в таком отношении к Европе, в какое ставит себя почтенный Созонт Иванович. Потому что ведь скоро будет двести лет, как мы явились в Европу такими точно «варварами-дурачками», и с той поры много воды утекло. С тех пор каких влияний мы не пережили, кому не подражали, кого не передразнивали! Мы и перед гробом Ришелье преклонялись<sup>7</sup>, и писали «Наказ» в духе энциклопедистов<sup>8</sup>, мы проникались и началами 89 года<sup>9</sup>, и началами первой империи<sup>10</sup>, мы когда-то «Гегеля изучали и знали Гёте наизусть»<sup>11</sup>, мы были бойцами республики 48 года<sup>12</sup> и потом плакали о ее падении как о гибели кровных наших надежд; мы всегда сочувствовали лучшим, избраннейшим умам Европы, но вообще каждому ее крупному явлению мы непременно платили и платим дань; мы платим ее, например, теперь и Наполеону III<sup>13</sup>, и свободной торговле Англии, и т. д.

И чем дальше, тем шире и глубже этот наплыв, как это и в порядке вещей. Этот ветер веет сильно. И мы все яснее понимаем его действие, потому что переживаем это действие на себе, на своих костях и своей плоти. Мы знаем, что влияние Европы вызывает не одни светлые явления; мы перенесли от него и переносим не только явления жалкие, смешные, пустые и бесплодные, но и мрачные и грустные до высочайшей степени, и, следовательно, мы не можем стоять в таком идиллическом отношении к влиянию Европы, как Созонт Иванович.

Но есть у нас другой ветер, тоже постепенно усиливающийся, но далеко еще не достигший силы для равноправной борьбы с западным ветром. Это — влияние того, что г. Тургенев некогда ост-

роумно назвал «черноземною силою», веяние духа нашей народности. От времени до времени мы, гнущиеся, как тростник, от западного ветра, обнаруживаем силу упругости, выпрямляемся и даже наклоняемся в другую сторону от ветра, потянувшего с востока. Естественная реакция умов и душ, но главное — столкновения с Европою, ход событий, неизбежно заставляющий действовать нас, нас, в другое время готовых стереться с лица земли, слететь с нее, подобно дыму, — дают у нас простор этому ветру. Его действия мы тоже знаем, ибо переносим их на себе, на своей плоти и своих костях, и все яснее различаем темные и светлые явления, им порождаемые.

Эти два ветра не случайны, как видит читатель. Существование именно их, а не каких других ветров, всего лучше показывает, что не *дым* все русское, что не каприз случая вертит нами. Напротив, кто живет среди борьбы этих направлений, для кого она составляет насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымом слова и рассуждения, отрицающие серьезность нашей жизни.

---

одна необходимо требует другой, что, отрицая одну, нужно отрицать и другую. Следовательно, он показал, что отрицание гораздо труднее, чем мы думали прежде, доказал, что явления человеческой души имеют более тесную связь, чем мы прежде легкомысленно полагали» (*Страхов Н.* Философские очерки. СПб., 1895. С. 95—96).

<sup>13</sup> Цитируются строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 2, строфа XXXVII).

## ДЫМ

Впервые опубликовано: «Отечественные записки». 1867. № 5.

Печатается по тексту книги: *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). 4-е изд. Киев, 1901.

<sup>1</sup> *Инсаров* — герой романа Тургенева «Накануне».

<sup>2</sup> «*Призраки*», «*Довольно*» — рассказы И. С. Тургенева, опубликованные соответственно в 1864 и 1865 гг.

<sup>3</sup> Страхов неточно цитирует два стиха из библейской «Книги Екклесиаста, или Проповедника» (гл. 2, ст. 22; гл. 1, ст. 9).

<sup>4</sup> В связи с именем *Глинка* Михаила Ивановича (1804—1857), выдающегося русского композитора, герой романа Тургенева Потугин выражает глубоко скептический взгляд на русскую музыку и на русскую культуру вообще (глава XIV).

В конце романа упоминается также русский поэт *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880), который написал религиозно-мистическую поэму «Таинственная капля» (1861).

*Телушкин* Петр Семенович, петербургский кровельщик, прославился тем, что в 1830 г. без лесов отремонтировал фигуру ангела на шпиле Петропавловского собора, а в следующем году (также без лесов) работал на верхушке адмиралтейского шпиля. В романе он фигурирует как пример русского удалства и сноровки.

<sup>5</sup> *La gloire militaire* — военная слава (*фр.*).

<sup>6</sup> *Profession de foi* — кредо (*фр.*).

<sup>7</sup> *Ришелье* — Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — кардинал, первый министр Людовика XIII, фактический правитель Франции. Впоследствии Ришелье воспринимался в Европе и в России как политический гений, выдающийся деятель абсолютистского государства.

<sup>8</sup> В 1767 г. был издан «Наказ» для депутатов Комиссии об Уложении, написанный русской императрицей Екатериной II. Более 400 статей этого философско-юридического трактата, ориентированного на идеологию Просвещения, представляли собой переложения и заимствования из сочинений Монтескье, Беккариа и других просветителей.

<sup>9</sup> То есть идеями Великой французской революции 1789—1794 гг.

<sup>10</sup> Имеются в виду государственно-политические принципы, положенные в основу французской империи, провозглашенной в 1804 г., когда Наполеон Бонапарт стал императором.

<sup>11</sup> Неточная цитата из рассказа И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849).

<sup>12</sup> То есть сочувствовали февральской буржуазно-демократической революции 1848 года, которая привела во Франции к ликвидации Июльской монархии и установлению Второй республики.

<sup>13</sup> *Наполеон III* — Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873) — французский император (1852—1870). Находясь в изгнании до 1848 г. и стремясь к власти, пред-



принял ряд политических авантюр; в 1848 г. добился избрания президентом Франции. В результате контрреволюционного переворота был провозглашен в 1852 г. императором, после чего установил в стране режим жестокой диктатуры. Написал несколько панегирических брошюр о Наполеоне I, которому приписывал радикальные решения многих социальных проблем. Эти брошюры способствовали распространению в широком общественно-литературном обиходе понятия «бонапартизм».

### Л. Н. ТОЛСТОЙ СОЧИНЕНИЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. В ДВУХ ЧАСТЯХ.

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1866. № 12.

Печатается по тексту книги: *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). 4-е изд. Киев, 1901.

<sup>1</sup> *Аристофан* (ок. 446—385 до н.э.) — древнегреческий комедиограф, борющийся против новых общественных тенденций, расшатывавших устои афинской демократии.

<sup>2</sup> Строки из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

<sup>3</sup> Страхов неточно цитирует строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 8, строфа XII). У Пушкина:

До двадцати шести годов,  
Томясь в бездействии досуга,  
Без службы, без жены, без дел,  
и т. д.

<sup>4</sup> Неточная цитата из «Евгения Онегина» (глава 1, строфа VI). У Пушкина: «Но дней минувших анекдоты...».

<sup>5</sup> *Comme il faut* — приличный, порядочный (фр.).

<sup>6</sup> *Comme il ne faut pas* — неприличный (фр.).

<sup>7</sup> «Она, казалось — верный снимок *Du comme il faut...*» — неточно цитируются строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 8, строфа XIV).

<sup>8</sup> *... je fus un homme très comme il faut* — я был чрезвычайно приличным человеком (фр.).

<sup>9</sup> Имеется в виду книга военного деятеля и историка *Михайловского-Данилевского* А. И. (1790—1848) «Описание войны 1813 года» (части 1, 2. СПб., 1840).

### ВОЙНА И МИР. СОЧИНЕНИЕ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО. ТОМЫ I, II, III и IV.

#### Статья первая

Впервые опубликовано: «Заря». 1869. № 2.

Печатается по тексту книги: *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), 4-е изд. Киев, 1901.

<sup>1</sup> Эти суждения высказаны П. Я. Чаадаевым в «Первом философическом письме» (Телескоп. 1836. № 15).

<sup>2</sup> См. размышления Литвинова в романе И. С. Тургенева «Дым» (гл. XXVI).

<sup>3</sup> Говоря так, Страхов, вероятно, мог вспомнить не только статью Ан. Григорьева «Граф Л. Толстой и его сочинения» (Время. 1862. № 9), но и статьи и отзывы о Л. Толстом, появившиеся в печати в 1850—1860 гг., в частности статью П. В. Анненкова «О мысли в произведениях изящной словесности» (Современник. 1855. № 1),